

Сергей

Борисов

В ТАРУСУ, К ПАУСТОВСКОМУ

Заметки о доме-музее писателя, которому природой не дано было писать о зле

Кто-то мечтает побывать в Париже, кто-то хочет увидеть Геркулесовы Столбы, кто-то забраться на самую высокую гору, а вот я давно хотел побывать в маленьком городке Калужской области под симпатичном названием Таруса. Первый раз я слышал о нем в доме моего друга Вадима Левитина, сокурсника по факультету журналистики Казахского университета, правда, сменившего потом перо на рыбацкий невод и нисколько не жалеющем об этом. Его мама Ирина Владимировна работала стенографисткой в совмине и, пользуясь маленькой привилегией, могла приобрести дефицитные по тем временам литературные новинки. В то время самым читаемым писателем после Шолохова был Константин Паустовский. Все сходили с ума от его «Золотой розы» – лирических и одновременно философских размышлений о сущности писательского труда. Прочитав рассказ «Корзина с еловыми шишками», мама моего друга загорелась желанием отправить в Тарусу своему литературному кумиру подарок – знаменитый алмаатинский апорт. И не в каком-то казенном фанерном ящике, а в настоящей корзине, сплетенной из золотистого тала, переложенный сосновой стружкой. Уж не знаю, как она сумела убедить строгое почтовое ведомство нарушить инструкцию, но корзина с апортом ушла в Тарусу. Как же она радовалась, когда получила коротенькое письмо от Константина Георгиевича со словами благодарности. Вот так любили советские люди своих писателей.

Я вспомнил эту историю, когда переступил порог дома-музея Константина Паустовского в Тарусе. «Пожалуй, нигде поблизости от Москвы не было мест таких типично и трогательно русских по своему пейзажу, – писал он о своем любимом городке. – Недаром ещё с конца XIX века Таруса стала городом художников, своего рода российским отечественным Барбизоном. Здесь жили Поленов и тончайший художник Борисов-Мусатов, поэт Заболоцкий, Марина Цветаева. За художниками потянулись писатели и учёные, и Таруса сделалась своего рода творческой лабораторией и приютом для людей искусства и науки». Паустовский избрал местом жительства Тарусу, после того как человеческая цивилизация добралась и до его любимой дикой Мещеры. Он немало сделал для благоустройства



города, с решимостью Дон Кихота сражался за сохранение его уникальной ауры. В то время Паустовского на всей Оке знали многие. И не просто знали, слышали, читали, но и были просто влюблены в него. Жил он в Тарусе до своей кончины в 1968 году. Хоронили его тысячи людей.

Составить мне компанию для поездки в Тарусу охотно вызвался мой старый друг, живущий теперь в Москве, корреспондент «Российской газеты» Володя Федосенко. К сожалению, из-за недостатка времени сам городок удалось осмотреть фрагментарно. Поэтому мой рассказ будет в основном о посещении дома-музея Константина Паустовского.

Официально его открыли в 2012 году. Скромный темно-голубой домик под рыжей крышей с мемориальной доской. В доме бережно сохранены все предметы, которые были при жизни Паустовского, – вольтеровское кресло, в котором он любил работать, подзорная труба – подарок друга, солидный фолиант лоции Черного моря, фотографии дорогих ему людей, картины.

Хранителями этого музея являются приемная дочь писателя и одновременно дочь драматурга Арбузова Галина Алексеевна Арбузова и ее муж, сценарист, автор нашумевшего в свое время фильма «Чучело» Владимир Железников.

«ДОРОГОЙ СОБРАТ...»

«У поэтов есть такой обычай, в круг сойдясь, плевать друг друга», – остро подметил убитый и забытый поэт Дмитрий Кедрин. Правда, в том стихотворении он имел в виду поэтов Востока – Саади, Хайама. А наши, что, слеплены из другого теста? Возьмем того же Ивана Бунина, чей портрет занимает почетное место в рабочем кабинете писателя. Он всегда был холоден, высокомерен, заносчив. А к старости, как отмечали окружавшие его люди, эти черты только усилились. Он считал «Чайку» дурной пьесой, надуманной. Иронизировал над названием «Вишневый сад», дескать, в России никогда не было специально выращенных промышленных вишневых садов. А вот «Степь» Иван Алексеевич ценил очень высоко.

Это сейчас у поэта Бунина много поклонников. А тогда, в начале века, когда юный Костя Паустовский приехал после окончания гимназии покорять Москву, Бунин прочно застолбил себе место на литературном Олимпе как прозаик. Бунин и Паустовский никогда не общались лично, не беседовали с глазу на глаз, но пересекались – на литературных вечерах и даже в одной из одесских редакций. Но предстать пред очи своего кумира юный поэт не решался. И тогда Костя написал Бунину письмо с приложением подборки своих стихов. Если убрать в письме извинительные слова, личные местоимения, написанные заглавными буквами, то суть его сводилась к извечному вопросу: стоит ли дальше изводить бумагу? Письмо было послано безо всякой надежды на ответ, такие письма мэтр получал от экзальтированных особ десятками в день. Но что удивительно, Бунин ответил совершенно незнакомому юноше. Продолжать писать стоит, но только прозу. И не петь с чужого голоса. Паустовский принял это как приказ, и стихов больше не писал. После этого пошел в люди. Почти слепой, у него было плохо со зрением, – сначала добровольцем на фронт, а потом перебрал более тридцати профессий. Был санитаром в полевом лазарете, работал репортером в провинциальных газетах, кондуктором «Аннушки» в Москве, рыбаком на Азове.

Но бунинская тема в жизни Паустовского имела свое продолжение.

Как вспоминал сам Паустовский, когда вышла первая книга «Далекие годы» из цикла «Повести о жизни», Константин Георгиевич встретился в своем подъезде с литературным критиком Ермиловым, человеком с плохой репутацией, в свое время так травившим Маяковского, что тот упомянул его даже в своей предсмертной записке. Но то было давно. А тут Ермилов начал рассыпаться в комплиментах по поводу высоких достоинств вышедшей книги Паустовского, которую он читал со всей своей семьей со слезами на глазах, вспоминая прожитые годы. Растроганный Константин Георгиевич долго тряс руку Ермилову и поделился вечером об этой приятной встрече со своими домочадцами. А назавтра в одной из центральной газет вышла огромная разгромная статья того же самого Ермилова, в которой он разнес «Далекие годы» Паустовского в пух и прах, назвав его «певцом царской России».

Но вот за границей в одном из эмигрантских журналов была перепечатана одна из глав «Повести о жизни». Прочитав ее, Бунин написал Паустовскому еще одно письмо: «Дорогой брат, я прочел Ваш рассказ «Корчма на Брагинке» и хочу Вам сказать о той большой радости, которую испытал я: если исключить последнюю фразу этого рассказ («под занавес»), он принадлежит к наилучшим рассказам мировой литературы. Привет и всего доброго. Ив.Бунин». Это был второй литератор из Советской России, которого заметил из далекой Франции скупой на похвалы Иван Алексеевич. Первым раньше был отмечен Александр Твардовский за «Василия Теркина». Мало кто знает, что «Далекие годы» даже номинировались на Нобелевскую премию. Но победил «Тихий Дон» Шолохова официально выдвигаемый на эту премию уже не первый раз.

Известно, что Паустовский любил, кроме Бунина, еще одного писателя, абсолютно не похожего на других, – Александра Грина, большого выдумщика, мечтателя, волшебника из страны ГельГью. Он всегда помогал ему, проталкивал его книги, многократно вытаскивал из небытия, собирал по крупицам его рукописи, заступался в высоких литературных инстанциях и издательствах. Благодаря этой бескорыстной помощи книги Грина увидели свет, и, как минимум, одно поколение советских детей выросло под гриновскими алыми парусами.

ГОРОДИШКО ГУРЬЕВ КУРИЛСЯ КИЗЯЧНЫМ ДЫМОМ...

Константин Паустовский во многих прикаспийских местах Казахстана был первопроходцем. В 1932 году он пишет повесть, сделавшей его знаменитым, – «Кара-Бугаз». После ее чтения надолго запоминаются описания берегов залива, розовые облака от взлетающих фламинго, таинственное свечение кристаллов мирабилита – основного богатства Черной пасти – так переводится Кара-Бугаз. В ней немало страниц о казахстанских степях, Урале и Гурьеве, Мангышлаке и Шевченко. С большим уважением он говорит о людях, обживающих этот край, сулящий в будущем фантастические богатства. Столько лет прошло, но как по-современному звучали тогда рассуждения писателя об энергетических богатствах этого края. Портреты простых людей в его очерках выглядят, словно вырезанные резцом скульптора. «Я смотрел на его профиль, – пишет он о нефтянике, – он напоминал мне профили римских полководцев на полустертых римских монетах». Наверное, никто так поэтично не описывал до Паустовского звездный купол неба над головой, розовые закаты под Гурьевом, запахи пустыни.

«Нигде я не видел таких величественных звездных ливней и такого ослепительного сверкания планет, – признается Константин Георгиевич. После выхода в свет «Кара-Бугаза», признавался он, я оставил службу, и с тех пор писательство стало моей единственной всепоглощающей, порой мучительной, но всегда прекрасной и любимой работой». В каждой командировке он находил что-то оригинальное, привозил побочные темы, которые часто становились собственными произведениями. Ну разве мог такой любознательный человек как Паустовский, во время путешествия на Мангышлак пройти мимо того факта, что в Форте Александровском отбывал в свое время царскую ссылку опальный украинский поэт Тарас Шевченко. И он едет в этот пустынный и забытый Богом поселок, где солнце казалось «глазом слепого». Благодаря Паустовскому мы узнаем много неизвестных фактов о Кобзаре, в том числе и о его участии в экспедиции по Аральскому морю, похожему на синюю ртуть, на шхуне «Константин». Все это позже нашло отражение в повести «Тарас Шевченко».

Пройдет несколько лет, и Паустовский снова окажется в Казахстане. На этот раз в Алма-Ате, куда в годы Великой Отечественной войны были эвакуированы многие писатели, артисты, деятели. В письмах своим друзьям Константин Георгиевич подчеркивал, что квартира Мухтара Ауэзова, который его приютил, – некая писательская лаборатория. Он так и пишет: «Живем дружно, колонией». В октябре 1941 года после возвращения с Южного фронта Костя сообщает Рувцу (так звали друг друга Паустовский и Рувим Фраерман): «...С большим трудом переехал в Алма-Ата... Город чудесный, весь в густых садах, у подножия снеговых гор, много солнца, жара, но все же тоскливо на сердце... Живем у чудесного человека – казахского писателя Мухтара Ауэзова, он уступил нам одну комнату...» В столице Казахстана Константин Георгиевич работал в Советском Информбюро (для Америки, Англии). Несмотря на большую загруженность чисто газетной работой, написал несколько военных рассказов, а также большой антифашистский сценарий...

Вот как об этом времени рассказывала нам приемная дочь Паустовского Галина Алексеевна: «Я тогда была еще девчушкой, но кое-что запомнила. Алма-Ату – с ярким солнцем, обилием больших деревьев, растущих прямо на улицах. Большинство эвакуированных, в том числе и мы с мамой, жили в гостинице, недалеко от оперного театра. А Константина Георгиевича в знак уважения взял к себе Мухтар Ауэзов. Он относился к нему с большим почтением, как к патриарху. Мы тоже часто бывали там. За обедом нам старались подкладывать лучшие кусочки. Помню, как к Ауэзову приезжал Джамбул со своей женой или родственницей, он был уже очень стареньким. Прямо во дворе дома женщины приготовили очень вкусный плов. Они и мою маму научили готовить это блюдо, и она делала его даже в Тарусе. Но плов почему-то не был таким вкусным, как в Алма-Ате, видимо, в нем чего-то не хватало. Позже Константин Георгиевич, будучи в хорошем настроении, частенько вспоминал о тех годах, искал в газетах заметки о тех краях. А его дружба с Мухтаром Омархановичем не прерывалась и после войны». Можно уверенно сказать, что Паустовский любил Казахстан, и казахстанцы платили ему тем же. В Казахстане о нем был даже снят документальный фильм. Его произведения переводились на казахский язык.

СМИРЕННО ПРЕКЛОНИВ КОЛЕНИ

Среди фотографий, удостоенных высокой чести красоваться в самом почетном углу дома-музея Паустовского, привлекает к себе внимание фотопортрет шикарной женщины в облегающем платье с блестками, словно нашитыми на голое тело, и дорожкой накидке из лебяжьего пуха, явно сделанный в дорогом европейском фотосалоне. Если внимательно приглядеться, то можно разобрать дату – 1964 год. Это известный портрет Марлен Дитрих. Вот история появления его здесь в рассказе той же Галины Алексеевны: «Нужно сказать, что начиная с 1962 года у Константина Георгиевича наступила полоса инфарктов. И это вдобавок к тяжелой астме. До конца жизни их набралось около восьми. В 1964 году был очередной. Писатель выписался из больницы, врачи прописали щадящий режим. А тут прошел слух, что в Москву с гастролями приезжает знаменитая Марлен Дитрих, и Константин Георгиевич загорелся ее увидеть и послушать. Как мы его ни отговаривали, он – ни в какую. Обычно он человек мягкий, но в некоторых случаях становился непреклонным. Наконец нашли компромиссное решение – Паустовского будет сопровождать лечащий врач.

Театр эстрады был набит до отказа. Марлен спела хрипловатым голосом свою коронную «Лили». А потом журналисты прямо на сцене бесцеремонно зацепили ее вопросом, кого из советских писателей она знает. Вопрос был явно некорректным. Да, Марлен Дитрих много читала, знала немало стихов поэта Рильке наизусть, дружила со многими писателями (и не только дружила), в том числе с Хемингуэем, Ремарком. Но кого она могла знать из советских писателей, мы ведь в то время были наглухо закрытой страной? Неожиданно для всех актриса, причем не напрягая памяти, называет фамилию Паустовского. Она поклонница его таланта, в частности ей нравится его рассказ «Телеграмма». А в это время кто-то из зала выкрикнул, что Паустовский тоже находится здесь. Народ стал вертеть головами, аплодировать. Паустовский понял, что из этой ситуации надо как-то выходить, встал и пошел на сцену. До сих пор не могу понять, – удивлялась Галина Алексеевна, – как он смог подняться по этим ступенькам на эстраду. Ведь никаких ступенек он не видел, у него один глаз был минус 8, другой – еще хуже. Когда он приблизился к артистке вплотную, она неожиданно для всех встала перед ним на колени. Марлен была одета в очень узкое платье, расшитое блестками. Платье было таким узким, что нитки стали лопаться, и камешки, блестки рассыпались по сцене. Люди, думая, что это драгоценные камни, бросились их собирать, чтобы отдать ей. А Марлен в своем узком платье стояла на коленях и не могла подняться. Доктор подбежал к сцене и крикнул Паустовскому: «Ни в коем случае не поднимайте!» Паустовский несколько мгновений стоял в растерянности. Марлен, наконец, помогли подняться, Паустовский поцеловал ей руку, и неловкость исчезла.

Потом, вернувшись домой, с огорчением сказал, что на сцене он выглядел далеко не комильфо. Он был огорчен, что не мог в полную силу проявить свою галантность. Буквально на следующий день Дитрих прислала ему три свои фотографии на память. Константин Георгиевич выбрал вот эту. И она долго потом украшала его кабинет».

Чем же так задел, чем запомнился такой далекой от нашей действительности Марлен Дитрих рассказ «Телеграмма»? Сюжет его незатейлив. «В этот холодный и ненастный октябрь Катерине Петровне стало ещё труднее вставать по утрам.

Старый дом, в котором она доживала свой век, был построен её отцом, известным художником, и находился под охраной областного музея. Дом стоял в селе Заборье. Каждый день к Екатерине Петровне прибегала Манюшка, дочь колхозного сапожника, помогала по хозяйству. Иногда заходил Тихон, сторож при пожарном сарае. Он помнил, как отец Екатерины Петровны строил этот дом.

Настя, единственная дочь Екатерины Петровны, жила в Ленинграде. Последний раз она приезжала три года назад. Екатерина Петровна очень редко писала Насте – не хотела мешать, но думала о ней постоянно. Настя тоже не писала, только раз в два-три месяца почтальон приносил Екатерине Петровне перевод на двести рублей. Однажды в конце октября, ночью кто-то долго стучал в калитку. Екатерина Петровна вышла посмотреть, но там никого не было. В ту же ночь она написала дочери письмо с просьбой приехать. Настя работала секретарём в Союзе художников. Художники звали её Сольвейг за русые волосы и большие холодные глаза. Она была очень занята – устраивала выставку молодого скульптора Тимофеева, поэтому положила письмо матери в сумочку, не читая, только вздохнула с облегчением: если мать пишет – значит жива.

Две недели Настя возилась с устройством выставки Тимофеева. На открытие выставки курьерша принесла Насте телеграмму из Заборья: «Катя помирает. Тихон».

Настя приехала в Заборье на второй день после похорон. Она застала свежий могильный холм на кладбище и холодную тёмную комнату, из которой ушла жизнь. В этой комнате Настя проплакала всю ночь. Уезжала она из Заборья крадучись, чтобы никто не заметил и ни о чём не спросил. Ей казалось, что никто, кроме матери, не может снять с неё груз непоправимой вины».

Согласитесь, такая история могла случиться где угодно, не только в России. Но почему так запала она в душу пресыщенной жизнью Марлен Дитрих? Не могла же она предвидеть на многие годы вперед, что нечто подобное произойдет между ней и её дочерью Марией, написавшей книгу воспоминаний, где её мать представлена никчемной и тщеславной развратницей? Да, Марлен не была идеальной матерью, но многие называли книгу дочери жестокой. Лично знавшие Марлен Дитрих утверждали, что после выхода мемуаров дочери ей не хотелось жить.

НЕ ЗАРАСТЕТ НАРОДНАЯ ТРОПА

Лев Толстой говорил, и не один раз, что первый признак настоящего таланта – это когда писателя читают и перечитывают. Правда, когда эти вещи слова были произнесены, телевидения и Интернета не было и в помине. Хранительница паустовского очага Галина Алексеевна не без горчинки в голосе признавалась нам, что, судя по вопросам посетителей музея, сейчас Паустовского знают мало. Подрастающее поколение в основном читает его детские рассказы и рассказы о животных. И все же в том, что народная тропа к дому-музею Паустовского не зарастает, убедились мы сами. В тот день Галина Алексеевна провела несколько экскурсий. С её разрешения я выписал несколько выдержек, оставленных посетителями музея в книге отзывов:

«Как сейчас не хватает настоящих интеллигентов, таких как Константин Паустовский! Защитников природы, защитников порядка, защитников маленьких людей!»

«Паустовский, как и Пушкин, пробуждал в людях добрые чувства. Мне кажется, что люди, воспитанные на книгах Паустовского, не смогут совершать плохие поступки».

«Нынешние писатели пишут нарочито грубо, неряшливо. А у Константина Георгиевича все слова были добрые».

«Когда на сердце мутрно, я перечитываю «Корзину с еловыми шишками» под музыку Грига. После этого хочется петь и летать».

Готов подписаться под этими словам и я.

Таруса

Виктор Конецкий: «Меня всегда тянуло к людям, которые отдадут последнюю тельняшку...»

ПОСЛЕДНИЙ ЕГО ЭТЮД – ПОДЛОДКА В ЗАКАТНОМ МОРЕ

– Ка-р-рамба! – прохрипел я с досадой и ударил ребром ладони по нагретому солнцем гранитному парапету Петровской набережной. – Не стоит ехать вокруг света ради того, чтобы сосчитать кошек в Занзибаре.

Набережная была пуста. Чайки, заложив шею под крылья, спали, словно впаянные в водную гладь Невской губы, чаще называемой моряками Маркизовой лужей. Медленно тянулся вдоль кронштадтских фортов сухогруз под шведским флагом.

Сзади меня улыбался в щеточку усов молодой бронзовый царь Петр: что, лопухнулся, салага? И был абсолютно прав.

Несколько месяцев подряд я проедал плешь редактору молодежной газеты с просьбой откомандировать меня в Кронштадт для написания забойного репортажа с подшефной подлодки «Комсомолец Казахстана». И вот я в двух шагах у цели – и стучу о парапет с досады. Рандеву, ради которого совершил несколько тысяч километров, не состоялось. Субмарина ускользнула из-под моего носа на празднование дня ВМФ в Москву.

...Зато воспоминания теснили меня со всех сторон. По этой вот брусчатке мы в живописных гражданских клифтах впервые шагнули за железные ворота первого флотского экипажа, где над нами совершили обряд всеобщего обстригания, обмывания и переодевания. Вот здесь мы доковались. Славное было времечко. Вот тут мы пили пиво, и нас застукал патруль.

Малое каботажное плавание из Кронштадта в Ленинград прошло без происшествий, если не считать того, что я разволновался, глядя на панораму противоположного берега. Вот там, в Ломоносове, он же Рамбов, он же маленький Париж, в основном, если не считать учений и походов, прошла моя служба в отдельном дивизионе аварийно-спасательной службы. Сухой четкой дробью простучал в голове позывной моей радиостанции УЛЦ-4. А вот там, в нижнем Петергофском парке, я впервые поце... Где ты теперь, моя Мисюсь? Нет, об этом не надо.

Итак, редакционное задание оставалось невыполненным. Была еще одна, совсем малюсенькая, надежда на встречу с писателем Виктором Конечким. Для всех, кто хоть раз носил тельняшку, он был литературным кумиром. Многие его рассказы во время моей службы на флоте моряки знали чуть ли не наизусть.

Немолодой, но начинающий питерский литератор Жора, у которого я остановился, «утешил»: «Конечкий с вашим братом-журналистом не очень-то дружит. К тому же, где гарантия того, что он находится сейчас не в морях?» Впрочем, – сказал он, глядя на мою позеленевшую физиономию, – чем черт не шутит. Полистаю я все-таки свой кондуит».

Нашел-таки телефон Виктора Викторовича. Трясущейся рукой набираю номер. Нестерпимо долго тянутся длинные гудки. Наконец, когда надежда была уже на самом доньшке, в трубке послышалось: «Слушаю». Пулеметной очередью, боясь, что собеседник не дослушает меня до конца, выстреливаю длинную, без пауз, фразу о том, что я тоже когда-то служил в аварийно-спасательной службе, что теперь я журналист молодежной газеты, что очень хочу встретиться, что за моей спиной триста тысяч читателей и т. д.

– Старик (тогда это обращение было в моде), тебе повезло, – ответила трубка. – Я только что вернулся с Ближнего Востока и сегодня же улетаю в Мурманск. (Настоящий моряк делает в этом слове ударение на втором слоге.) В твоём распоряжении два часа. Так что – жми.

Выскакиваю из дома. «Полный вперед». Только бы не заклинило поршня! Довольно быстро где-то в каменных джунглях Выборгской стороны нахожу нужный дом. Переведя дыхание, жму на звонок. Дверь открывает восточная женщина, с ярко покрашенными губами. Ах, черт, женщина, по старинной морской примете, не к добру. Вышел в коридор и хозяин. В тужурочке, ладный, с золотыми шевронами на рукавах.

В комнате – ничего лишнего. Тахта, пара полок с книгами. «Беллетристической чепухе я предпочитаю теперь какую-нибудь старинную лоцию». Это он скажет потом, а пока... Пока я презент – алмаатинские яблоки и баночку черной икры, ей-богу, было такое, – на стол, а рядом – блокнот с шариковой ручкой.

– Это лишнее, – показывая на мою примитивную оргтехнику, сказал писатель-маринист. – Многое из того, что я скажу, твой редактор не опубликует. А говорит гладко да сладко не привык.

Перед тем как отправиться на встречу, мы с Жорой горячо обсуждали, брать ли мне с собой горячительное, ну какое же толковище без живительных капель, но так и не пришли к общему согласию. На месте сориентируешься, посоветовал рассудительный Жора, чуть что – смотаешься в гастроном.

Словно прочитав мои мысли, Виктор Викторович как бы извинительно произнес: «В бумеранг ударить не удастся (у героев Конечкого это означало выпивку). Я, Высоцкий и Даль вшили «бомбы», помогла Марина Влади, так что, суши весла.

– Так говоришь, что служил, как и я, в аварийно-спасательной службе, бывший радист, «маркони», «золотые ушки»?» (Хотя любую тельняшку и распирает от избытка патриотизма, моряки почему-то считают автором беспроволочного телеграфа не Попова, а итальянца Маркони. – *Прим. С. Б.*)

«Травим» так потихонечку, тут женщина кофе принесла, крепкий, настоящий, в маленьких чашечках. А на экране включенного телевизора такое творится! В корабль «Союз» из «Аполлона» через люк (улыбка на ширину приклада –

так выражался наш взводный в учебке) влывает астронавт Томас Стаффорд. Космическое братание. Я возьми и брякни: какие, мол, мы молодцы – бороздим просторы Вселенной. Вижу: у Виктора Викторовича скулы свело. «Мы бы лучше пшеницу научились сеять. Какой год ее из-за границы вожу – стыдно! Вымотает нас этот космос!»

Ох, колючие у нас юмористы-маринисты. Ладно, «малый назад», перейдем к темам, не таким острыми.

– Виктор Викторович, считаете ли вы себя веселым человеком?

– В училище «травил» здорово. А в жизни меня назовешь мрачным человеком.

Юмор – антипод грусти, тоски. Это часто бывает в дальних походах.

– Ограниченность пространства, оторванность от земли вызывают у морских людей потребность философствовать. И тем не менее среди моряков не так уж много писателей. Кого из писателей-маринистов вы почитаете?

– Почитать надо родителей. А если всерьез – многие люди с солидным запасом чернил, побывавшие на корабле недолгое время, пытаются выразить свои ощущения, но часто путают известные каждому юнге понятия. На флоте очень много заковырок, употреби их в неправильном падеже – будет другой смысл. Моряки этого не прощают. Впрочем, так поступают не только они. Малейшая неточность уменьшает доверие к происходящему.

Я питаю большое уважение к Новикову-Прибою, профессионально написаны многие морские рассказы Леонида Соболева, его первая книга «Капитальный ремонт», неплохая книга «Три минуты молчания» Владимирова. Она была бы еще лучше, не допусти автор несколько грубых ошибок.

Из иностранцев – Мелвилл и Конрад. Это философы. Они сделали с морем то, что Экзюпери позже с воздушным океаном, включив его в сферу философских обобщений. А ведь до него и после него летало много летчиков, но они не увидели и не ощутили и сотой доли того, что он. Книжки о космонавтах и те, что написаны самими космонавтами, сделаны на одну колодку. Видимо, до осмысления философии космоса мы еще не доросли.

– Что для вас море?

– Ив Кусто одним из первых заметил, что человечество ослеплено заманчивым зрелищем подводных сокровищ и закрывает при этом глаза на то, что главное богатство океана – вдохновение и радость, которые можно черпать из него бесконечно.

Мы едим мясо коров, овец, лошадей. Ели его и наши предки. Но даже у холодного профессионала на бойне сохраняется любовь к животным. А вот рыбы жили все время в другом мире. Мы не могли слышать их голоса, не могли, к примеру, почесать маленькую треску за ушком, как теленочка. И поэтому у нас не могла возникнуть любовь к ним – таким холодным и скользким. Попавшая в трал рыба не вызывает у нас никаких эмоций. Это не значит, однако, что нужно утопить все тралы и сети. Уловы будут наращиваться, но при этом мы должны воспитать в себе нравственное отношение к обитателям океана, такое же, какое существует у нас к жеребеночку, который будит в наших душах радость. В конце концов, человечество опять будет вынуждено вернуться к океану, из глубин которого оно давным-давно вышло.

– Морская романтика, есть ли она сейчас? Что бы вы могли сказать молодым людям, которые бредят морем, начитавшись рассказов Виктора Конечного?

– Ошибаются те, кто ждет от меня пышных слов о легком бризе и бархатной волне, которую рассекает белоснежный корабль с лихим капитаном на мостике. Море – это тяжелый, я бы даже сказал, мрачный труд. Романтика моря? Есть такое ходячее выражение. Только скажите, какой она кажется моряку, который по 10-12 часов шкерит, попросту потрошит, тысячи рыб.

Где романтика в том, чтобы вовремя привести в порт назначения теплоход с пассажирами на борту, которые должны быть лучшим образом развлечены накормлены, напоены?

Сколько нудных вещей, далеко не романтических, должен знать современный моряк?! Своды морских правил со всей казуистикой, традициями, правилами заполнения судовых и фрахтовых документов, от которых болит голова, но которые надо знать как «Отче наш», чтобы тебя не надули. Сейчас в моряцкой профессии наступил новый период. Время алых парусов отошло в прошлое, мало осталось места на море для проявления своей удачи и молодечества.

Победитель не тот, у кого сильнее мышцы, а у кого сильнее машины, более точные приборы. Об этом и писать нужно по-новому, искать приметы этого времени. Говорю об этом так, чтобы уберечь горячие головы, которые начитались Станюковича и не видят в море ничего, кроме клешей и просоленного «краба» на фуражке, от необдуманных шагов. Ну, а те, кого это не страшит, кто надевает тельняшку осознанно, продолжают наше дело.

– Ваши герои – вымышленные люди?

– В большинстве своем – это реальные люди, с кем приходилось ходить в море. Меня всегда тянуло к тем людям, которые отдадут последнюю тельняшку, а не к тем, кто ее, наоборот, отнимет. Отрицательных героев у меня не было, у всех у них, правда, непростые судьбы. Это люди моего поколения, которые в чем-то повторили мою биографию.

В дальнейшем я что-то буду ломать в своем творчестве, ибо считаю, что задача писателя сейчас – бороться против пошлости, фарисейства, громких фраз. Конечно, существуют и глобальные проблемы. И все-таки оттого, насколько мы хорошо разберемся в своем собственном «я», будут успешно разрешены и они. Считаю, что пошлость уже переполнила материка и стала распространяться на Мировой океан.

– Быстро ли привыкает команда к присутствию писателя на корабле?

– Очень быстро. Будь ты хоть кем, лишь бы знал свое дело хорошо и за тебя не пришлось бы тянуть лишние вахты. Есть, правда, люди, которые, думая, что ты о них непременно будешь писать, хотят повернуться к тебе выгодными гранями. Они не интересны. Знаю, что сейчас арктическая ребятня, узнав, что я иду в рейс, будет изливать душу, но это быстро пройдет.

– Говорят, что моряк скучает по дому на корабле, а дома – о море.

– Скука, морское понятие. Бывает, накатывает, особенно после вахты, когда не с кем поговорить. О литературе, например. Есть интересные собеседники вообще, к сожалению, разговор о литературе в основном сводится к простой обывательской формуле: нравится – не нравится.

– Ваша последняя книга называется «Соленый лед». Есть ли в этом названии какой-то скрытый подтекст?

– В кристаллах льда соли меньше, чем в самой воде. В этом, наверное, есть какая-то ассоциативность с человеческим трудом. А впрочем, полностью не

уверен. Меня не раз спрашивают, каков жанр моих произведений. Думаю, что это удел критиков, подводить какую-то теоретическую базу. «Соленый лед» – это скорее всего разговор с самим собой, со своими сомнениями. Кто из нас не сомневается? У кого такое чувство умерло, тот превратился в столб.

– Часто ли вы получаете письма от своих читателей?

– Да, порядком. Часто пишут моряки, что-то подмечают, делятся необыкновенными случаями. Много писем от одиноких, как я полагаю, женщин из российской глубинки. Одинокими их сделала война. Они ничего не просят, не предлагают, просто хотят поговорить с кем-то о своем житье-бытье. Это очень грустные письма.

– Дом для моряка – корабль – святое место. Представьте, что вас попросили написать похвалу кораблю...

– Таких слов немало в моих книгах. Из чужого нравится вот это: «Корабль – вещь, не имеющая в себе подобия в природе, кроме разве сухого листа, упавшего в поток». Это, по-моему, Стэйнбек.

Дальше я кинул Виктору Викторовичу «леща» по поводу его рассказа «Невезучий Альфонс». Это жизнеописание паренька с редким именем Альфонс Кобылкин, которому жутко не везло. Умная, веселая, и в то же время щемящая душу проза. Я рассказал Конечному в чем-то подобную историю.

У нас на корабле тоже завелось такое сокровище, вытуренное из высшей военной мореходки. Отправив дюжину рапортов в адрес начальства о своем нежелании посвятить жизнь военно-морскому флоту и не встретив взаимопонимания, оно придумывало всякие мелкие пакости, идущие вразрез с морским уставом. Ему давали наряды вне очереди, сажали на губу, прорабатывали на комсомольских собраниях. Но ни один из этих проступков не тянул на отчисление. Тогда оно напрягло свою фантазию и откололо такой номерок. Подкравшись сзади к начальнику училища, седому адмиралу, который, прислонив ладонь к уху, прислушивался, не фальшивит ли курсантская рота, давая ножку на «строевом плацу», заложив два пальца в рот, по-разбойничьи свистнуло. Старый морской волк присел с перепугу. Рота сбилась с шага, матросские тельняшки чуть не лопнули со смеху.

Через день после этого инцидента неудавшаяся гроза всех морей и океанов с тощим вещевым мешком стояла у трапа нашего водолазного бота. Определили его в боцманскую команду. Во время большой приборки вся команда медяшки песком драит, а он, расположившись на корме, из рогатки по прожорливым чайкам ведет беглый огонь. Для этого специально запасается на берегу отполированной прибором галькой. И стреляет стервец отменно. Наверное, из него мог бы получиться хороший комендор. Как-то перед строевым смотром, который проводился весной перед началом навигации, командир приказал привести личный состав в божеский вид. Для придания матросским головам единообразного вида пригласили на корабль даже профессионального цирюльника. Чтобы не дразнить проверяющих, все подстриглись по-уставному, а несостоявшийся гардемарин – ни в какую, не хочу подстригаться, как все. Хочу модную прическу. Когда у мичмана терпение лопнуло, он, чтобы припугнуть нахала, рявкнул: «Да остригите его наголо, как салажонка, мать-перемать!» А волосатик возьми и сигани в воду солдатиком с левого борта. Сыграли тревогу – «человек за бортом», стали готовить даже водолаза, пока кто-то не заметил под пирсом отбивающего зубами

чечетку ихтиандра. (Подумалось: а служи такой паренек сейчас, заклевали бы его «деды». Как пить, заклевали. А тогда над слабыми на корабле не издевались, их жалели.)

Выслушав меня, Виктор Викторович, единственный раз улыбнувшись за всю беседу, заметил, что рассказанное мною тянет на отдельный рассказ. Я стыдливо опустил глаза: лезть всегда приятно.

Так вот, помянули мы добрым словом невезучего Альфонса, и тогда товарищ Капецкий (так когда-то в «Соленом льде» назвала Виктора Викторовича молодая радиожурналистка) поведал продолжение этой истории.

Предсказание автора о том, что от настоящего, стопроцентного неудачника расходятся в эфире какие-то невидимые флюиды, которые со временем начинают сказываться на судьбе окружающих, сбылось. В то время, как весь морской, а также сухопутный люд соперничал невезучему Альфонсу, над головой автора рассказа сгустились грозовые тучи! Да какие там тучи – настоящий торнадо. Весь цвет советского адмиралитета, в придачу с генералами и маршалами всех родов войск дружно, боевым строем выступили против поклепа на наше славное воинство.

Военных задели за живое те фразы в рассказе Конецкого, где отец Альфонса, в войну – генерал, а теперь маршал, бросил свою жену с маленьким тогда Альфонсиком (экая редкость!), а также то место, где однокашники героя, встретившись спустя несколько лет после окончания училища и заказав в ресторане по сто граммов, повели обычный в таких случаях разговор. Дальше цитирую по тексту: «Посыпались номера войсковых частей, названия кораблей, фамилии командиров, рассказы о походах, авариях, сетований на то, что флот теперь не тот, порядки не те, традиции не те, матросы, море – не то, и даже дельфины куда-то пропали». Но главная крамола крылась вот в этой фразе: «Одному дрянному шпиону достаточно было посидеть за соседним столиком десять минут, чтобы завалить Пентагон материалом до самой крыши».

Адмиралы и генералы, опубликовав в «Новом мире» гневное письмо, требовали сатисфакции. Но что с него, Виктора Викторовича, возьмешь? Нашли-таки кнут, финансовый. Рассказ «Невезучий Альфонс» журнал «Нева» взял на публикацию, заключив с автором соответствующий договор. Виктор Викторович получил причитающийся ему по авторскому праву аванс. Вдруг его вызывает тогдашний редактор «Невы» Попов и говорит, что Конецкий должен вернуть аванс, что рукопись порочная, они разобрали ее на редколлегии и пришли к такому выводу. Виктор Викторович, конечно же, на дыбы, во-первых, деньги он уже успел потратить, и, вообще, он категорически не согласен, что в его рассказе есть что-то порочное. Конецкий полагал, что спор этот разрешится как-то через Союз писателей, оказалось – нет. Дело дошло до суда. Судиться в то время с издательством мог только ненормальный. Но Конецкий не хотел идти на компромисс, таков уж был у него характер.

После очередного возвращения из морей ответчик в своем почтовом ящике находил ворох повесток в суд. Фемида отчаянно давила на одну половину весов.

Выручил Андрюша. Ну, как какой? Вознесенский, автор «Треугольной груши». Во время своего вояжа за океан он купил в нью-йоркском киоске журнал «Советская жизнь» на английском языке с тем самым рассказом Конецкого

«Невезучий Альфонс». И без единой купюры. В его выходных данных значилось: издатель – Советское правительство. С первой же оказией Вознесенский переслал журнал Виктору Викторовичу. Ну, какой же советский судья поперет против такого аргумента?

...Замечаю: Конецкий все чаще посматривает на часы.

– Извини, старик, пора. В Мурманске меня ждет сухогруз «Ломоносово». Названного в честь городка, где ты служил. Опять отправляюсь на Север, где не бывал уже почти десять лет. Возможно, что перемены, происшедшие там за это время, и вызовут у меня какие-то мысли.

Спешу задать писателю еще один вопрос: приходилось ли ему бывать в наших краях.

– Разве что только во Фрунзе, и то в военную пору. С тех пор у меня в душе сохранилась благодарность к людям, которые приютили нас, блокадных пацанов, делились последним, хоть и самим было несладко. Низкий им поклон.

Протягиваю Виктору Викторовичу книгу «Соленый лед» для автографа. Размашисто, наискосок страницы под эпитафией Генри Торо Конецкий пишет: «Серега, жду рассказ!».

P.S. Увы, я постеснялся отправлять Виктору Викторовичу свои опусы. Мне они казались не той пробы. А за творчеством писателя я внимательно следил, и большинство его книг есть в моей библиотеке. В годы всеобщего раздора доходили слухи, что он болеет и испытывает нужду. Попытка с помощью знакомой питерской журналистки передать любимому писателю небольшую посылочку, увы, не увенчалась успехом.

Говорят, он сильно переживал по поводу гибели атомохода «Курск». Нарисовав свой последний этюд (он еще и рисовал) – подводную лодку в закатном море, он заснул и не проснулся. Похоронили его военные моряки на Смоленском кладбище в Петербурге. Со всеми офицерскими почестями.

P.S. В разговоре со мной Виктор Викторович хорошо отозвался о журнале «Простор» – смелый журнал. Тогда он свободно продавался в киосках Ленинграда. «Счел бы за честь быть напечатанным у вас», – сказал писатель-маринист и вручил мне рукописи двух своих рассказов. Я добросовестно выполнил роль литературного курьера, но, к сожалению, писательский дебют Конецкого в Казахстане так и не состоялся.

Алматы

